

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

ЭХО БАРДО



Александр Иванов

Эхо Бардо

«Автор»

2026

Иванов А.

Эхо Бардо / А. Иванов — «Автор», 2026

Петербург. 2003 год. Мансарда на Васильевском. Человек, который не помнит своего прошлого. Шкатулка с кассетой. Голос, обещающий: «Ты вспомнишь». Пять ключей, разбросанных по городу — у сфинксов, в доме с грифонами, у священника на кладбище. Тибет. 1991 год. Монастырь в горах. Старый лама, который знает больше, чем говорит. Русский практик, решившийся на невозможный эксперимент. Эти два мира сойдутся в одной точке. И когда они сойдутся, реальность окажется тоньше, чем кажется. А ответ на вопрос «кто я?» — ближе, чем можно представить. «Эхо Бардо». Философский детектив. Мистический Петербург. Буддийская притча.

© Иванов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

***	5
Пролог	6
Глава 1. Чужое лицо	7
Глава 2. Шкатулка	14
Глава 3. Голос	18
Глава 4. Ирина	23
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Александр Иванов Эхо Бардо

ЭХО БАРДО



Санкт-Петербург
2026

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭХО БАРДО»

© А. В. Иванов, текст, 2026

Пролог

Санкт-Петербург, Васильевский остров, ночь с 12 на 13 марта 1999 года.

Мокрый снег падал за окном мансарды — косо, лениво, словно нехотя. Фонарь на углу Шестой линии и Среднего проспекта раскачивался под ветром, и жёлтый свет маятником ходил по стенам комнаты.

Человек сидел на полу, скрестив ноги, в центре сложной геометрической фигуры, выложенной цветным песком. Круги, квадраты, лепестки лотоса. В углу, на низком столике, горела масляная лампа. Рядом — фотография старого монаха в тёмно-красной одежде.

В комнате пахло травами, дымом и чем-то ещё — сладковатым, тяжёлым, нездешним. Этот запах вьёлся в стены, в одежду, в дерево половиц. Он останется здесь надолго.

Магнитофон «Grundig» стоял на полу, справа от человека. Красный огонёк записи горел. Кассета крутилась с тихим механическим шорохом.

Человек заговорил. Голос был спокойным, без дрожи:

— Если ты это слышишь — значит, всё получилось. Я оставил тебе ключи. Первый — там, где время застыло в камне. Второй — у женщины, которая любила тебя раньше, чем ты родился. Третий — в доме с грифонами. Четвёртый — у того, кто говорит с мёртвыми каждый день. Пятый — там, где всё началось. Когда соберёшь все пять — ты вспомнишь. И тогда ты сделаешь выбор, который я не смог.

Пауза. Тише, почти шёпотом:

— Если захочешь узнать, кто был до меня — храм Гедэна Шеддупа в Лхасе, восточная стена, третий камень.

Щелчок. Красный огонёк погас.

Человек вынул кассету, аккуратно, двумя пальцами. Положил в деревянную шкатулку, где уже лежали чётки из тёмного дерева, фотография мандалы, металлический цилиндр и серебряная брошь в виде лотоса. Закрыв крышку. Поставил шкатулку на стол, рядом с магнитофоном.

Теперь всё было готово.

Он выпрямил спину. Положил руки на колени — левая ладонь поверх правой, большие пальцы соприкасаются. Оглядел комнату в последний раз: круг света от фонаря за окном, огонёк лампы на алтаре, лицо Учителя на фотографии.

Закрыв глаза.

Дыхание замедлилось. Тело расслабилось. Он входил в какое-то странное, глубокое спокойствие — не сон, не забытьё, а нечто иное, чему нет названия.

Масляная лампа на алтаре мигнула — раз, другой. Огонёк вытянулся в тонкую нить и погас. Запахло горелым маслом.

Человек перестал дышать. Лицо осталось спокойным — ни боли, ни страха, ни торжества. Просто спокойствие.

Лампа погасла. За окном всё падал снег. Фонарь на углу продолжал раскачиваться.

В комнате стало тихо.

Глава 1. Чужое лицо

Будильник должен был зазвонить в семь, но Виктор проснулся на двенадцать минут раньше. Он лежал на спине и смотрел в потолок. Серый свет сочился сквозь шторы, рисовал на побелке бледные полосы. За стеной гудела водопроводная труба — низко, утробно, как большая муха. За окном, на уровне пятого этажа, голые ветки тополя царапали стекло. Ветки были чёрными и мокрыми — ночью прошёл дождь, первый апрельский дождь, мелкий и настойчивый.

Он не помнил этот тополь. Не помнил эту квартиру. Не помнил этот потолок.

Четыре года назад он открыл глаза в больничной палате. Женщина у кровати плакала и повторяла: «Витя, Витя, ты вернулся». Он смотрел на неё и не понимал, кто она и кто такой Витя. Позже выяснилось: мать. Елена Сергеевна. Библиотекарь на пенсии, вдова, живёт на Петроградской стороне в трёхкомнатной квартире, доставшейся от мужа-инженера. Он запомнил эти факты — даты, имена, обстоятельства, — но не почувствовал ничего.

Так было со всем.

Врачи сказали: амнезия. Полная. Ретроградная. После комы иногда возвращается память — медленно, фрагментами, как пазл, который собираешь с середины. Иногда не возвращается совсем. Ему не повезло — или повезло, смотря с какой стороны посмотреть. Доктор, пожилой невропатолог с усталыми глазами и жёлтыми от табака пальцами, сказал тогда: «Вы можете прожить всю жизнь и не вспомнить ни дня из прошлого. Или можете проснуться завтра и вспомнить всё разом. Этого никто не знает. Мозг — не книга, которую можно пролистать обратно. Мозг — это лес. Вы можете идти по нему годами и не найти дороги. А можете случайно выйти на поляну, где всё станет ясно».

Виктор запомнил эти слова. Не потому, что они давали надежду. А потому, что они были честными.

Первые месяцы после больницы были самыми трудными. Он заново учился жить — не в метафорическом, а в самом прямом смысле. Ходить. Есть вилкой. Завязывать шнурки. Тело помнило всё на уровне рефлексов, но сознание каждый раз удивлялось: оказывается, моя рука может поднять чашку. Оказывается, мои ноги умеют спускаться по лестнице. Оказывается, мой язык знает слова, хотя я не помню, когда их выучил.

Мир был огромной энциклопедией, в которой он оставался единственной пустой страницей.

Он сел на кровати, опустил ноги на пол. Паркет был холодным — разошёлся, и от окна тянуло сквозняком. Квартира старая, с высокими потолками и лепниной по карнизам, но запущенная. Обои в прихожей отошли по швам. На кухне подтекал кран — мерно, с интервалом в несколько секунд, капля ударялась о фаянс раковины. В ванной гудела всё та же труба — или другая, кто их разберёт. Прежний Виктор, видимо, не особенно заботился о быте. Или просто не успевал.

Архитектор. Он был архитектором. Это ему сказали позже, но когда он впервые взял карандаш после больницы, рука сама нарисовала линию — ровную, уверенную, с правильным нажимом. Тело помнило то, что голова забыла.

Мать рассказывала: он поступил в архитектурный с первого раза, хотя конкурс был огромный — семь человек на место. Мечтал строить мосты. В детстве, говорят, рисовал их на всём, что попадалось под руку: на обоях, на полях учебников, на промокашках. Отец, Сергей Иванович, был инженером-мостостроителем, работал на «Ленмостострое», строил мост Александра Невского и вантовый мост через Неву. Брал сына с собой на объекты. Виктор сидел на краю котлована, болтал ногами и смотрел, как огромные машины забивают сваи в землю. Он не помнил этого. Но мать говорила, что он был счастлив.

После института он ушёл в реставрацию — старые особняки, церкви, доходные дома. Почему? Мать говорила: после смерти отца он изменился. Перестал мечтать о мостах. Сказал: «Новое построить может любой дурак, а вот сохранить старое нужен характер». Виктор слушал эти истории как биографию постороннего человека. Вроде бы интересно. Вроде бы про него. Но внутри — ничего.

Он прошёл в ванную. Умылся холодной водой — бойлер сломался ещё в прошлом году, починить руки не доходили. Холодная вода обожгла кожу, прогнала остатки сна. Он вытерся старым полотенцем, прошёл на кухню, включил чайник.

На столе лежал вчерашний чертёж — проект реставрации особняка на Английской набережной. Дом купцов Елисеевых, памятник федерального значения, конец восемнадцатого века. Работа досталась ему случайно: мастерская «Старый город», где он работал до аварии, позвала его обратно. Не из жалости — из практических соображений. Прежний Виктор был одним из лучших реставраторов в городе, его знали, его помнили. Новый Виктор, как выяснилось, тоже неплохо справлялся. Пальцы держали карандаш так, будто делали это тысячу раз. Глаз видел пропорции. Рука вела линию.

Коллеги говорили: «Ты почти не изменился».

Почти.

Чайник закипел. Он насыпал заварку в старую фарфоровую кружку с отбитой ручкой — другой не было. Залил кипятком. Сел к окну.

За окном просыпался Петербург. По крыше напротив ходили голуби — жирные, важные, похожие на чиновников. Внизу, во дворе-колодце, женщина выгуливала лохматую собачонку, похожую на перекати-поле. У мусорных баков рылся бомж с тележкой — собирал бутылки. На углу стоял милицейский «уазик», и двое сержантов курили, прислонившись к капоту. О чём они говорили? О футболе? О жёнах? О том, как надоела эта работа?

Обычный день. Обычный город. Обычная жизнь.

И всё же что-то было не так.

Он не мог объяснить этого словами. Не жаловался врачам, не обсуждал с матерью, не писал в дневнике — дневника у него не было. Но каждый день, просыпаясь, он испытывал одно и то же: ощущение, что он носит чужую одежду. Что квартира, работа, имя, даже лицо в зеркале принадлежат кому-то другому, а он — временный жилец, который задержался на четыре года и до сих пор не распаковал чемоданы.

Иногда это чувство отступало — когда он погружался в работу, когда чертил, когда спорил с прорабом на объекте. Но по вечерам, в тишине пустой квартиры, оно возвращалось. Садилось рядом, как невидимый сосед, и молчало. И это молчание было хуже любых слов.

Он встал, подошёл к старому трюмо в прихожей. Из зеркала на него смотрел мужчина тридцати трёх лет. Светлые волосы, серые глаза, тонкий шрам на левой скуле — след аварии. Металлический осколок. Лицо было спокойным, даже приятным, но каждый раз, глядя на него, Виктор испытывал лёгкое головокружение. Как будто зеркало должно было показать кого-то другого, но в последний момент передумывало.

Он помнил, как впервые увидел себя после комы. Медсестра подала зеркальце — маленькое, на пластиковой ручке. Он взял его и долго смотрел. Ждал, что память включится, что лицо покажется знакомым. Но в зеркале был чужой человек. Чужой подбородок. Чужие глаза. Чужой шрам.

— Это я? — спросил он тогда.

— Вы, — сказала медсестра. — Конечно, вы. Кто же ещё.

Он не поверил. Не поверил до сих пор.

Отвернулся от зеркала. Чай стыл на подоконнике.

Зазвонил телефон.

— Виктор? Это Люба. Ты дома? Я уже час тебе звоню, трубку не берёшь, я уже волноваться начала.

Голос у Любы был высокий, быстрый, с причитающими интонациями. Она всегда говорила так, будто мир вокруг неё горит и только она может его потушить.

Люба — двоюродная сестра. Дочь тёти Вали, маминой сестры. Виктор видел её несколько раз после больницы. Она приезжала, привозила апельсины и яблочный пирог, сидела на краю стула, вздыхала, спрашивала: «Ну что, ничего не вспомнил?» Он отвечал: «Ничего». Она вздыхала ещё громче и уходила. Не плохой человек — просто уставший. Двое детей, муж-инвалид, работа в собесе. Ей было не до него, и он это понимал.

— Только проснулся, — сказал он. — Что случилось?

— Дядя умер. Брат мамы. Дядя Миша. Позавчера. Хоронили вчера, мы тебе звонили, но ты трубку не брал. Вечно ты трубку не берёшь. Я понимаю, у тебя работа, но всё-таки родственник.

Виктор помолчал. Дядя Миша. Михаил Ильич Соколов. Историк-востоковед. Мать рассказывала про него — единственный брат, единственный, кто выбился в науку. Родился ещё до войны, в тридцать восьмом. Ребёнком пережил блокаду — мать вывезла его по Дороге жизни, чудом спасла. После войны вернулся в Ленинград, поступил в университет, восточный факультет. Защитил диссертацию по тибетской иконографии, преподавал, потом ушёл в академический институт, писал монографии, которых никто не читал. Жил один. Жена умерла давно. Детей не было. Последние годы почти не выходил из квартиры — книги заменяли ему всё.

Виктор попытался вспомнить хоть что-то — лицо, голос, случай из детства. Пусто.

— Я его не помню, — сказал он честно.

— Я знаю. Поэтому и звоню. Надо разобрать вещи. Квартира на Васильевском, Шестая линия, дом двенадцать. Ты там бывал сто раз, мы в детстве к нему на Новый год ездили, он нам всегда дарил книжки. Ты не помнишь, конечно. Но ты всё равно приедь. Мне одной не справиться, а там ещё эта шкатулка...

— Какая шкатулка?

— Деревянная. Старая. Резная. Он последние полгода всем твердил: «Если что — шкатулку Виктору». Никому больше. Только Виктору. Мы не спрашивали, что внутри. А теперь спрашивать некого.

Виктор почувствовал, как внутри что-то сжалось. Не предчувствие — скорее, эхо предчувствия. Так бывает, когда слово вертится на языке, но не даётся. Или когда снится сон, а утром помнишь только вкус — не цвет, не звук, не сюжет, а именно вкус.

— Я приеду.

— Сегодня? У меня после обеда дети уходят в садик, я свободна до пяти.

— Сегодня. После работы.

— Хорошо. Я буду ждать. Только ты точно приедь, а то я знаю тебя — ты пообещаешь и пропадёшь.

— Приеду.

Он положил трубку. Чай совсем остыл. За окном голуби вспорхнули с крыши — разом, как по команде.

Шкатулка. Почему ему? Почему не матери, не сестре, не коллегам по институту? Почему человек, которого он не помнил, оставил ему что-то настолько важное, что твердил об этом последние полгода жизни?

Ответа не было. Но что-то внутри — не в голове, а глубже — зудело.

На работу он поехал к девяти.

Мастерская «Старый город» располагалась в полуподвале на Большой Конюшенной — три комнаты, заваленные чертежами, макетами и образцами кирпича. Пахло бумагой, клеем ПВА и дешёвым кофе. Главный архитектор, Борис Матвеевич, пожилой грузный мужчина с вечной сигаретой в зубах, встретил его в дверях:

— Виктор, у нас проблема. По Елисеевским антресолям.

— Какая?

— Охранная служба города не согласовывает перекрытия. Говорят, проект не соответствует новым нормативам по пожарной безопасности. Надо переделывать.

— Я считал по нормативам.

— Ты считал по старым. А они ввели новые в прошлом году. Забыл?

Виктор не забыл. Он просто не знал. Четыре года назад, когда он вышел из больницы, строительные нормативы были другими. Прежний Виктор знал их наизусть. Новый Виктор учил заново — и где-то пропустил обновление.

— Я переделаю. Сегодня же.

— Давай. До вечера управисься?

— Управлюсь.

Он сел за кульман. Достал кальку, карандаш, линейку. Руки легли на чертёж. Линии пошли ровные, чёткие — как всегда. Работа успокаивала. Когда он чертил, не было ни прошлого, ни будущего. Только линии. Только пропорции. Только холодный свет лампы над столом.

Он погрузился в чертёж так глубоко, что забыл про шкатулку. Это было хорошее забытьё — рабочее, честное. Когда голова занята делом, призраки отступают.

К полудню он закончил новый вариант перекрытий. Вышел покурить — вернее, постоять рядом с курящими коллегами. Сам он не курил. Тело не просило.

У входа в мастерскую стоял Архипов — молодой парень, только после института, шумный и восторженный. Рядом с ним — Лена, единственная женщина в мастерской, ландшафтный дизайнер, молчаливая и острая на язык.

— Виктор Андреич, — окликнул его Архипов, — а правда, что вы до аварии были совсем другим?

— В каком смысле?

— Ну, мне Борис Матвеевич рассказывал. Говорит, вы были резкий, громкий, всё время спорили с заказчиками. А теперь — тихий. Как будто вас подменили.

Лена бросила на Архипова быстрый взгляд — мол, заткнись. Но Виктор не обиделся.

— Не знаю, — сказал он. — Может, и подменили.

Архипов засмеялся, приняв это за шутку. Виктор не стал его разубеждать.

До конца рабочего дня он сидел над перекрытиями, потом ездил на объект — особняк на Английской набережной встретил его запахом мокрой штукатурки и старого дерева. Леса стояли до третьего этажа. Рабочие снимали позднюю лепнину — осторожно, по сантиметру, как снимают бинты с раны. Под лепниной открывалась старая кирпичная кладка — настоящая, историческая, которую клали ещё при Екатерине.

Прораб, мужик по имени Сергеич, встретил его у входа:

— Виктор Андреич, у нас тут косяк. Вот здесь, на втором этаже, балка гнилая. Я же говорил, что гнилая. Надо менять.

— Показывайте.

Они поднялись на второй этаж. Балка действительно была гнилая — дерево крошилось под пальцами. Виктор осмотрел её, сделал замеры, записал в блокнот.

— Будем менять. Закажите дуб. Цельный. Никакого клееного бруса.

— Дорого.

— Памятник федерального значения. Экономить не положено.

Сергеич вздохнул, но спорить не стал. Виктор провёл на объекте три часа. Сверил чертежи, проверил кладку, расписал фронт работ на неделю вперёд. Руки работали уверенно. Голова была занята другим — шкатулкой.

— Виктор Андреич, вы сегодня рассеянный, — заметил Сергеич.

— Я в порядке.

— Ну-ну.

В пять вечера он сел в метро. «Невский проспект». Пересадка. «Василеостровская». Шестая линия.

Дом номер двенадцать по Шестой линии был старый, доходный, постройки конца девятнадцатого века. Облупленная штукатурка. Тёмный колодец двора. Парадная, в которой пахло сыростью и кошками. Лифт не работал — видимо, уже давно. Виктор поднялся на третий этаж пешком.

Люба открыла сразу, будто ждала под дверью. Всплеснула руками:

— Приехал! Ну слава богу. А я уже думала — опять пропадёшь. Проходи, проходи. Чаю хочешь? У меня пирожки с капустой.

— Не надо. Давай сразу к делу.

— Ну, как знаешь.

Она провела его в кабинет.

Кабинет напоминал музейный запасник после землетрясения. Книжные шкафы до потолка, забитые так, что полки прогибались. Книги на тибетском, санскритские рукописи под стеклом, пожелтевшие карты, атласы, словари. На стенах — тханки: буддийские иконы на шёлке, с Буддами, бодхисатвами, гневными божествами. У дальней стены стоял старый глобус — потрескавшийся, с выпцветшими материками. На подоконнике — бронзовые статуэтки: многорукий Шива, Ганеша с хоботом, сидящий Будда. На полу — стопки журналов и выписок. Пахло табаком и старой бумагой. И ещё чем-то — сладковатым, тяжёлым, нездешним. Наверное, благовониями. Наверное, дядя жёг их здесь, когда работал.

— Он здесь жил последние годы, — тихо сказала Люба. — Почти не выходил. Говорил, что книги — лучшая компания. Соседи его боялись. Думали, колдун.

— А он был колдуном?

— Нет. Просто странный. Как все учёные. Как ты.

Виктор не нашёлся, что ответить.

— Он болел последний год, — продолжала Люба. — Сердце. Врачи говорили — надо в больницу. Он отказывался. Сказал: «Я ещё нужен. Я должен дождаться». Чего — не объяснил. А потом вдруг позвонил мне и сказал: «Люба, если что — шкатулку Виктору. Только ему. Запомни». Я запомнила. И вот.

— Почему мне?

— Не знаю. Он тебя любил. Ты единственный из всей семьи, кто интересовался его работой. Ты в детстве мог часами сидеть у него в кабинете, рассматривать книги, задавать вопросы. Он говорил: «Витя далеко пойдёт». И вот ты пришёл. Только он уже не увидит.

Виктор прошёл вглубь комнаты. На письменном столе, среди вороха каталожных карточек и исписанных мелким почерком листов, стояла она.

Шкатулка.

Деревянная. Тёмная. С резным узором на крышке — переплетённые линии, которые при ближайшем рассмотрении оказывались не просто орнаментом, а чем-то осмысленным. То ли письменность, то ли схема, то ли карта. Дерево было старым, но не рассохшимся. Казалось, шкатулка хранила тепло — как будто её только что держали в руках.

— Я пойду чайник поставлю, — сказала Люба. — А ты смотри. Это твоё теперь.

Она вышла, прикрыв дверь.

Виктор остался один. Он сел за стол. Протянул руку и коснулся крышки. Дерево было тёплым — не нагретым от солнца, а как будто живым. Пальцы ощутили мельчайшие детали резьбы. Линии переплетались, уходили вглубь, возвращались. Глаз не мог ухватить узор целиком — он всё время ускользал, как оптическая иллюзия.

Он хотел открыть шкатулку. Но что-то его остановило. Не страх. Скорее — интуиция. Не здесь. Не сейчас. Не при свидетелях.

Когда Люба вернулась с чайником, он уже стоял в прихожей со шкатулкой под мышкой.

— Ты уже уходишь? А чай?

— В другой раз. Спасибо, Люба.

— Ты странный, — сказала она. — Всегда был странный. Но сейчас — особенно. В детстве ты был весёлый. Шумный. Всё время что-то придумывал. А потом, после смерти отца, изменился. Стал тихий. Замкнутый. Как будто что-то внутри сломалось. А теперь — ещё тише. Как будто ты и не ты вовсе.

— Может, и не я, — сказал Виктор.

Люба покачала головой.

— Ладно, иди. Но ты звони хоть иногда. Мать волнуется. Я волнуюсь.

— Позвоню.

Он вышел на лестницу. Спустился по ступеням. Вышел во двор-колодец, где пахло сыростью и кошками. Поднял воротник и пошёл к метро.

Шкатулка была тяжёлой. И тёплой. Он прижимал её к боку и чувствовал, как внутри что-то дрожит — не от страха, а от предчувствия. Так дрожит воздух перед грозой. Так дрожит земля перед землетрясением.

Дома он поставил шкатулку на стол. Снял куртку. Зажёг настольную лампу. Сел.

Шкатулка стояла перед ним — тёмная, резная, молчаливая. Узор на крышке переливался в свете лампы. Линии переплетались, как змеи, как вены на запястье, как русла рек на старой карте.

Он смотрел на неё и думал о том, что Люба сказала: «Ты изменился». Когда? После смерти отца? После аварии? Или в тот момент, когда он открыл глаза в больнице и не узнал собственную мать?

Кем он был до аварии? Кем был тот, прежний Виктор, — архитектор, строивший мосты и мечтавший сохранить старые особняки? Он любил свою работу. Любил женщину по имени Ольга, которую Виктор-новый не помнил, но которая приходила к нему в больницу и плакала. Он жил в этой квартире, пил из этой кружки, спал на этой кровати. А потом — авария, гололёд, встречная полоса. Кома. Пробуждение без памяти.

И теперь в этой квартире живёт другой человек. С тем же именем, с тем же лицом, но другой. Он носит чужую одежду. Ест из чужой посуды. Спит на чужой кровати. И никто, кроме него самого, этого не замечает.

Кроме, может быть, дяди Миши. Который оставил ему шкатулку.

Почему?

Виктор протянул руку и положил ладонь на крышку. Он провёл пальцами по резьбе. Линии уходили вглубь, переплетались, возвращались. Он чувствовал их кожей, как слепой чувствует буквы на странице.

Завтра он откроет её. Завтра он узнает, что внутри. А сегодня — пусть постоит. Пусть побудет тайной ещё одну ночь. У него было чувство — странное, но отчётливое, — что как только он откроет шкатулку, его жизнь изменится. Не станет лучше или хуже. Просто изменится. Бесповоротно.

Он выключил лампу. Лёг в постель. Закрыв глаза.
Ночью ему приснился сон.

Он стоял на склоне горы. Внизу, в долине, лежал город — маленькие белые домики, черепичные крыши, узкие улочки. Над городом висел дым от очагов. Пахло травами и тёплым маслом. Солнце садилось за снежные пики, и небо было оранжевым, как апельсин. Где-то далеко, в монастыре, били в гонг — низкий, протяжный звук плыл над долиной.

Рядом с ним стоял человек в тёмно-красной одежде. Лица было не разглядеть — то ли из-за солнца, то ли потому, что так было нужно. Но Виктор знал, что этот человек — старый. Очень старый. И очень спокойный.

Человек смотрел на долину и молчал. Потом повернулся к Виктору. В его глазах была нежность и грусть — одновременно.

— Ты вернёшься, — сказал он. — Но не сразу.

Виктор хотел спросить: «Куда вернусь?» — но не мог говорить. Голос пропал. Горы молчали. Гонг звучал где-то вдалеке, затихая.

Человек улыбнулся.

— Не бойся, — сказал он. — Тот, кто боится, — не ты. Тот, кто идёт, — и есть ты.

Виктор проснулся в четыре утра. В комнате было темно. За окном снова шёл дождь — мелкий, настойчивый, бесконечный апрельский дождь. Капли стучали по подоконнику. Водопроводная труба за стеной гудела свою бесконечную песню.

Шкатулка стояла на столе.

Он лежал и смотрел на неё. Пальцы правой руки слегка подрагивали — как будто перебирали что-то невидимое. Чётки, которых он никогда не держал. Мантры, которых никогда не читал.

Завтра. Всё решится завтра.

Он закрыл глаза и больше не спал до рассвета.

Глава 2. Шкатулка

Шкатулка была открыта в девять утра.

За окном моросил дождь. Капли стучали по жестяному отливу, и этот звук оставался единственным, что нарушало тишину квартиры. Труба за стеной сегодня молчала. Сосед сверху не топал. Даже голуби на крыше притихли.

Виктор сидел за столом в одних джинсах и футболке, не завтракал, не умывался. Проснулся, встал и сразу пошёл к столу. Шкатулка ждала. Крышка была ещё тёплой на ощупь — или казалась такой.

Внутри лежали пять предметов. Аккуратно, с продуманной симметрией — каждый на своём месте, как экспонаты в музейной витрине. Тот, кто собирал шкатулку, делал это тщательно и без спешки. Каждый предмет что-то значил. Каждый был частью послания.

На стол легли один за другим: аудиокассета без футляра, чётки из тёмного дерева, чёрно-белая фотография с геометрическим узором, тяжёлый металлический цилиндр с прорезями по бокам и серебряная брошь в виде цветка лотоса.

Первой в руки попала кассета. Обычная компакт-кассета, чёрный пластик, маленькая наклейка с цифрой «1», выведенной от руки. Никаких опознавательных знаков. Никаких надписей. Только цифра. Плёнка была на месте — если поднести к лампе и заглянуть в окошко, видно было, как блестит магнитный слой.

Следом — чётки. Тёмное, почти чёрное дерево. Сто восемь бусин разного размера: крупные чередовались с мелкими. Между ними — серебряные вставки с микроскопической гравировкой. Под лупой проступили крошечные символы. Не буквы — знаки. Молния. Глаз. Рыба. Раковина. Они повторялись в определённом порядке.

Фотография. Чёрно-белая, слегка пожелтевшая по краям. Сложный геометрический узор: круги, вписанные в квадраты, квадраты, вписанные в круги, лепестки лотоса по четырём сторонам света, и в центре — точка. Мандала. Слово всплыло откуда-то изнутри — тихо, как эхо. В правом нижнем углу снимка виднелась мелкая вязь — буквы, похожие на тибетские.

Металлический цилиндр. Тяжёлый. При встряхивании внутри что-то глухо стучалось. То ли другой цилиндр на оси, то ли свиток — через прорези было не разобрать. Похож на молитвенный барабанчик, только без ручки.

И наконец — брошь. Цветок лотоса с шестью лепестками. Тонкая, изящная работа. На обороте — клеймо: крошечная восьмиконечная звезда. Вещь явно женская — для платья или пальто.

И всё. Ни записки. Ни объяснения. Только пять предметов и тишина.

Виктор откинулся на спинку стула. Ожидалось другое. Письмо. Дневник. Объяснение. Почему дядя, которого он не помнил, оставил ему кассету без подписи и чётки, которыми явно пользовались? Почему твердил последние полгода жизни: «Шкатулку — Виктору»? И почему внутри лежали не семейные реликвии, а буддийские артефакты?

Рука сама потянулась к чёткам. Они легли в ладонь тяжело и удобно, будто сделанные именно под эту руку. Пальцы задвигались — большой прижал бусину, указательный скользнул к следующей, средний перехватил эстафету. Ритм вышел странным — не механическим, а осмысленным. Раз-два-три. Пауза. Раз-два-три. Пауза. Тело делало то, чего Виктор не просил.

Он смотрел на свои руки и не узнавал их.

Движение не было случайным — пальцы знали, что делать. Двигались так, будто повторяли действие, совершённое тысячи раз. Тысячи прикосновений. Чьих-то пальцев. Чьих-то молитв.

На одной из бусин обнаружилась гравировка — не на серебряной вставке, а прямо на дереве. Микроскопические буквы:

«Вспомни Лицзян».

Лицзян.

Слово было незнакомым. Не русским, не английским, ни на что не похожим. Но внутри, в грудной клетке, там, где рождается дыхание, что-то сжалось и разжалось — мышца, которую долго не использовали.

Лицзян.

Повторённое про себя. Ещё раз. И ещё.

Перед глазами встала картинка.

Горы. Огромные, снежные, с острыми пиками, уходящими в белёсое небо. Воздух — разреженный, холодный, пахнувший льдом и шалфеем. У подножия — город. Маленькие белые домики, черепичные крыши, узкие улочки, мощённые камнем. Дым от очагов. Запах трав и топлёного масла. Где-то лает собака. Где-то звенит колокольчик.

Видение было ярким, объёмным, живым — не как воспоминание, а как прямой эфир. Настоящий холод разреженного воздуха. Настоящий запах дыма. Ветер трогал волосы. Виктор был там — и в то же время сидел за столом в своей квартире на Петроградской стороне, в Петербурге, в апреле 2003 года.

Картинка исчезла, будто выключили проектор.

Рука всё ещё держала чётки. Пальцы всё ещё перебирали бусины.

Чётки легли на стол. Пальцы не хотели их отпускать — сжались, протестуя. Пришлось заставить ладонь разжаться. Дерево стукнуло о столешницу.

Что это было? Галлюцинация? Сон наяву? Или воспоминание?

Но горы не могли быть воспоминанием. За четыре года после комы Виктор нигде не был, кроме Петербурга. А до аварии... до аварии память оставалась чистым листом.

Допустим, галлюцинация. Допустим, чётки, ритм, гравировка — всё это вызвало реакцию в мозгу. Но почему именно горы? Почему белые домики и запах дыма? Почему «Лицзян» — слово, которого он никогда не слышал, — вызвало образ яркий, детальный, достоверный? Так не бывает. Галлюцинации не бывают такими подробными. Сны — да. Но он не спал.

Виктор прошёлся по комнате. Сердце постепенно успокаивалось. Мысли перестали скакать и выстроились в цепочку.

Затем вернулся к столу. Взял фотографию. Мандала. Круги, квадраты, лепестки лотоса. Тибетская вязь в углу. Прочсть её было невозможно, но смотреть — можно. И чем дольше он смотрел, тем яснее становилось чувство: узор понятен. Не умом — телом. Глаз двигался по линиям мандалы так, будто знал маршрут. От внешнего круга — к квадрату. От квадрата — к внутренним кругам. От кругов — к лепесткам лотоса. И к центру. К точке.

Фотография легла на стол. В руки пошёл металлический цилиндр. Холодный. Тяжёлый. С прорезями. Встряска — глухой стук внутри. Поднесённый к лампе, он не открыл своей тайны: ось, а на оси — не то цилиндр, не то свиток. Темнота.

Брошь-лотос. Женская вещь. Для кого? Для матери? Для невесты? Для незнакомки? Восьмиконечная звезда на обороте — клеймо мастера. Тибетское? Индийское?

И кассета. Чёрная, без надписей, с цифрой «1» на наклейке. Что на ней? Голос? Музыка? Тишина?

Нужен плеер. Старый магнитофон «Весна», доставшийся от прежнего Виктора, пылился на антресолях и, кажется, не работал — пару лет назад из динамиков доносился только хрип. Можно попробовать ещё раз. Или найти кого-то, у кого есть работающий кассетник.

Мысль перескочила на Колю — соседа с четвёртого этажа, старого алкоголика с золотыми руками. Он чинил всё: замки, телевизоры, утюги. У него наверняка был плеер. Или магнитофон. Или он мог починить старую «Весну».

Но сначала — фотография. С тибетской вязью. С мандалой. Нужен эксперт. Кто-то, кто знает тибетский язык. Кто-то, кто понимает буддийскую символику. Кто-то, кто слышал слово «Лицзян» и знает, что оно означает.

Дядя был востоковедом. Но дядя умер.

Значит, другой специалист.

После обеда Виктор поехал в Публичную библиотеку.

Дождь кончился, но небо оставалось серым, низким, набухшим. На тротуарах блестели лужи. Дворники сметали с решёток прошлогоднюю листву. Город пах мокрым асфальтом и приближающейся весной.

В библиотеке было тихо и пусто. Редкие посетители сидели за столами, склонившись над книгами. Свет из высоких окон падал на паркет длинными косыми полосами. Пахло пылью и старыми переплётами.

— Мне нужна информация по тибетскому буддийскому искусству, — сказал Виктор женщине в очках за стойкой справочного отдела. — Научные работы. Монографии. Статьи.

— Тема диплома? Диссертации?

— Личный интерес.

Взгляд поверх очков был скептическим, но через десять минут на стол легла стопка книг. Виктор сел в дальнем углу, раскрыл первую.

Тибетский буддизм. История. Философия. Иконография. Текст казался одновременно чужим и знакомым. Слова «Калачакра», «Бардо», «пхова» — где-то слышанные. Или читанные. Или известные всегда.

Мандала Калачакры. Колесо времени. Символ вселенной для медитативных практик высшего уровня. Рисуется цветным песком несколько недель, затем разрушается одним движением руки — знак непостоянства всего сущего. Мандала из шкатулки была именно Калачакрой.

Чётки. Сто восемь бусин — сто восемь омрачений ума на пути к просветлению. Серебряные вставки с гравировкой — отличительный признак чёток из монастыря Гедэна Шеддупа в Восточном Тибете.

Нгаг-понг — ритуальный предмет для чтения священных текстов в темноте. Свет проходит через прорези и проецирует текст на стену.

Карандаш в руке двигался уверенно, как на чертежах. Только теперь Виктор рисовал не балки и перекрытия, а мандалы и символы.

В одной из монографий нашлась глава о русских исследователях Тибета. Пржевальский. Козлов. Рерих. Дальше — примечание мелким шрифтом:

«Отдельного внимания заслуживает феномен русских практиков, принявших буддийское посвящение в Тибете в последней трети XX века. В отличие от учёных-исследователей, они не оставили письменных свидетельств, однако их влияние на развитие буддизма в России ещё предстоит оценить. См., например, устные сообщения о русском монахе Тензине, жившем в монастыре Гедэна Шеддупа в Восточном Тибете в 1990-х гг.».

Тензин.

Сноска была перечитана трижды. Монастырь Гедэна Шеддупа. На чётках — другое, «Вспомни Лицзян». Но монастырь был важен. Это чувствовалось.

Русский монах Тензин. Девяностые годы. Кто он? Почему его чётки, его мандала, его кассета оказались у дяди? Почему дядя хранил их и завещал Виктору?

Автор монографии — Ирина Соколова, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, отдел Востока.

Соколова. Однофамилица. Ничего особенного, но совпадение было отмечено — Виктор уже привык отмечать совпадения. Слишком много их стало в последнее время.

Фамилия, название отдела, адрес электронной почты — всё переключалось в блокнот. В компьютерном зале на втором этаже, за старым монитором с гудящим экраном, открылась почта.

Письмо писалось долго. Стиралось, переписывалось, снова стиралось. Как объяснить незнакомому человеку то, чего сам не понимаешь? Как рассказать о шкатулке, о чётках, о видении — и не выглядеть сумасшедшим?

В итоговой версии остались только факты:

«Уважаемая Ирина Сергеевна. Я разбираю вещи покойного дяди, Михаила Ильича Соколова, историка-востоковеда. Среди его вещей обнаружена фотография буддийской мандалы. На снимке имеется надпись, предположительно на тибетском языке. Ваша монография упоминает русского практика по имени Тензин. Буду признателен за консультацию. Виктор Соколов».

Ни слова о видении. Ни слова о кассете. Ни слова о чётках, которые двигают пальцами. Только то, что можно проверить.

Ответ пришёл на следующий день. Быстрый, короткий, деловой:

«Виктор, здравствуйте. Ваше письмо меня заинтриговало. Я знала Михаила Ильича — он консультировал меня по санскритским рукописям. Примите мои соболезнования. Я готова посмотреть фотографию. Приходите в Эрмитаж в четверг, в десять утра, служебный вход на Миллионной, пропуск я закажу. Приносите всё, что нашли. Ирина Соколова».

«Всё, что нашли». В письме упоминалась только фотография, но она написала «всё». Будто знала, что есть ещё.

Или будто ждала.

Ночью сон не шёл.

В темноте гудела труба за стеной. Чётки лежали на тумбочке у кровати. Выпускать их из рук не хотелось — и этому не было логического объяснения. Виктор не был верующим. Не был буддистом. Вообще не знал, кем был. Но деревянные бусины с серебряными вставками казались единственной реальной вещью в мире, полным чужих лиц и забытых имён.

Рука сама потянулась к чёткам. Пальцы нашли привычный ритм. Останавливать их Виктор уже не пытался. Просто лежал и перебирал бусины, и это было похоже на молитву. На медитацию. На возвращение домой.

Лицзян.

Завтра у Ирины Соколовой будет спрошено, что значит это слово. Завтра станет известно, кто такой Тензин. Завтра, возможно, будет сделан первый шаг к разгадке.

А сегодня — спать.

Глаза закрылись. Перед внутренним взором снова встали горы. Снежные пики. Белые домики. Старый монах в тёмно-красной одежде на склоне — смотрит и улыбается.

«Ты вернёшься. Но не сразу».

В четверг, без четверти десять, Виктор стоял у служебного входа Эрмитажа. На плече висела сумка. В сумке лежала шкатулка. В шкатулке — пять предметов. И один вопрос, на который пока не было ответа.

Глава 3. Голос

Старый магнитофон «Весна», который пылился на антресолях, не работал уже года три — он проверил это сразу после библиотеки. Вставил вилку в розетку, нажал клавишу воспроизведения. Динамик захрипел, заскрежетал и умолк. Даже если бы чудом запел, звук был бы таким же мёртвым, как сам аппарат. Виктор выдернул шнур и отставил магнитофон в сторону.

Оставался Коля.

Коля жил на четвёртом этаже, прямо под квартирой Виктора. Сосед был из тех людей, чей образ жизни остаётся загадкой для окружающих. Возраст — где-то за пятьдесят. Профессия — неясно. Пальцы вечно в мазуте, на подоконнике — паяльник и осциллограф советских времён, в углу кухни — коробки с радиодетальями. Но при этом Коля никогда не говорил о работе. Просто чинил вещи. Любые. Замки, краны, бойлеры, телевизоры, магнитофоны. Денег не брал. Говорил: «Сочтёмся». Виктор иногда заносил ему сигареты — хотя Коля и сам мог достать, — чай, пряники. Они сидели на кухне, пили чифир и молчали. Это было лучшее общение из всех возможных.

Дверь открылась после второго звонка.

— А, это ты, — Коля посторонился, пропуская гостя. — Заходи. У меня тут как раз чайник вскипел.

На кухне, как всегда, царил творческий беспорядок. На подоконнике цвела герань — единственное, за чем Коля ухаживал с нежностью. На стенах желтели вырезки из журналов: мотоциклы, горы, портреты каких-то учёных. На плите стоял закопчённый чайник с обмотанной изолентой ручкой.

— Чай? Чифир? — Коля уже разливал кипяток по кружкам. — Ты чего хмурый такой? Опять труба гудит?

— Труба в порядке, — ответил Виктор, садясь на табурет. — У меня к тебе дело.

— Дело — это хорошо. Дело я люблю. Что стряслось?

— Кассету нужно прослушать. А магнитофон сдох.

— Какой магнитофон?

— «Весна». Старая, ещё с антресолей. Хрипит и молчит.

Коля отхлебнул чай.

— «Весна» — это не магнитофон. Это недоразумение. Я тебе с ней и в прошлый раз говорил — выбрось. Плеер нужен?

— У тебя есть?

— Где-то был. «Sony». Япония. Старый, но рабочий. Я его в девяносто восьмом купил, ещё до всего. Сейчас найду.

Он вышел в комнату, и оттуда послышался грохот перекладываемых коробок. Виктор сидел на кухне, пил чай и смотрел на герань. Цветок рос в старом эмалированном горшке, лепестки были ярко-красными, почти алыми, и на них дрожала капля воды.

Через пять минут Коля вернулся с плеером. Аппарат был потёртым, с трещиной на корпусе и стёртыми надписями на кнопках, но выглядел живым.

— Держи. Батарейки свежие, я его в прошлом году проверял — крутит. А что за кассета-то? Музыка?

— Не знаю. Сейчас услышим.

Виктор достал кассету из кармана. Чёрный пластик. Наклейка с цифрой «1». Никаких опознавательных знаков. Коля посмотрел на неё с интересом, но промолчал.

Кассета вошла в плеер с тихим щелчком. Кнопка «play» подалась под пальцем. Зажужжал мотор. Плёнка зашуршала.

Сначала была тишина.

Долгая. Почти целая минута. Только дыхание. И шорох — то ли одежды, то ли бумаги, то ли движения. Кто-то сидел перед микрофоном и молчал. Может быть, собирался с мыслями. Может быть, ждал, когда слушатель будет готов.

Коля хотел что-то сказать, но Виктор поднял руку — подожди.

Голос зазвучал без предупреждения.

Спокойный. Ровный. Мужской. С лёгкой хрипотцой — как у человека, который долго не говорил, а теперь говорит для единственного слушателя.

— Если ты это слышишь — значит, всё получилось.

Виктор замер.

— Я не знаю, как ты сейчас себя называешь. Это не важно. Имя — одежда, которую меняют, когда она изнашивается.

Голос был незнакомым. Никаких ассоциаций, никакой зацепки. Но внутри, под рёбрами, что-то сдвинулось. Как будто этот голос обращался не к Виктору, а к кому-то, кто сидел глубже. Ниже памяти. Ниже личности.

— Я оставил тебе пять ключей. Первый — там, где время застыло в камне. Второй — у женщины, которая любила тебя раньше, чем ты родился. Третий — в доме с грифонами. Четвёртый — у того, кто говорит с мёртвыми каждый день. Пятый — там, где всё началось. Когда соберёшь все пять — ты вспомнишь. И тогда ты сделаешь выбор, который я не смог.

Пауза. Долгая. Казалось, человек на записи колеблется — говорить ли дальше. Потом добавил, тише, почти шёпотом:

— Если захочешь узнать, кто был до меня — храм Гедэна Шеддупа в Лхасе, восточная стена, третий камень.

Щелчок.

Конец записи.

На кухне повисла тишина. Такая глубокая, что было слышно, как капля падает из крана в раковину. Герань на подоконнике чуть покачивалась от сквозняка. Чайник на плите перестал шуметь.

Коля присвистнул:

— Ничего себе. Это что, квест? Типа игры? Клагоискательство?

Виктор не ответил. Он сидел, глядя на плеер, и чувствовал, как внутри происходит что-то странное. Сердце билось медленно и ровно. Не как после испуга — как после долгого бега, когда дыхание уже восстановилось, а тело ещё помнит движение. Руки лежали на коленях ладонями вверх. Большие пальцы соприкасались подушечками. Когда он принял эту позу, Виктор не заметил.

— Эй, — Коля тронул его за плечо. — Ты в порядке? Ты побледнел.

— В порядке. Дай мне послушать ещё раз.

— Да пожалуйста, слушай сколько хочешь. А я пока покурю.

Коля вышел на лестничную клетку, прикрыв дверь. Виктор перемотал кассету. Нажал «play».

«Если ты это слышишь — значит, всё получилось...»

Второй раз был другим. Голос уже не был незнакомым. Он стал ближе. Как будто Виктор знал этого человека — не помнил, но знал. Как будто они когда-то сидели рядом. Говорили. Молчали вместе.

Пять ключей.

Первый — там, где время застыло в камне. Сфинксы. Университетская набережная. Ответ пришёл мгновенно, без размышлений. Как знание о том, что вода мокрая, а снег холодный. Сфинксы, привезённые из Египта двести лет назад. Они сидят лицом к Неве и смотрят на воду — каменные, неподвижные, равнодушные. Время, застывшее в камне.

Второй — у женщины, которая любила тебя раньше, чем ты родился. Мать. Елена Сергеевна. Больше никому.

Третий — в доме с грифонами. Банковский мост? Там грифоны — чугунные, с золотыми крыльями. Дом рядом с мостом? Или сам мост?

Четвёртый — у того, кто говорит с мёртвыми каждый день. Священник. Кладбище. Могила отца на Смоленском.

Пятый — там, где всё началось. А вот это уже загадка. Где всё началось? В больнице, где он очнулся? В квартире, где жил до аварии? Или где-то ещё — там, где началось что-то, о чём он пока не знал?

И последнее — про храм Гедэна Шеддупа. Восточная стена, третий камень. Тибет. Тот самый монастырь, о котором писала Ирина Соколова. Там, по её словам, жил русский монах Тензин. Тот, кто нарисовал мандалу. Тот, чьё имя было выгравировано на фотографии. Тот, кто, возможно, записал эту кассету.

Коля вернулся с лестницы, сел на табурет.

— Ну что, разобрался?

— Пока нет.

— А что за ключи? Может, я чем помогу? Я город знаю. Я тут пятьдесят лет живу.

Виктор посмотрел на Колю. Потом на плеер. Потом на кассету.

— Первый ключ — «там, где время застыло в камне». Я думаю, это сфинксы на Университетской набережной.

— Точно, — Коля кивнул. — Сфинксы. Они там двести лет сидят. Время застыло, лучше не скажешь. А второй?

— У матери. Третий — в доме с грифонами. Банковский мост.

— Или дом Игумнова, — добавил Коля. — Это рядом с мостом, на углу канала Грибоедова и Садовой. Там на фасаде грифоны. Лепнина. Краеведы до сих пор спорят, почему их туда прилепили. Может, твой человек знал.

— Может быть.

Коля отхлебнул чай.

— Слушай, а кто этот человек вообще? Ну, который запись сделал. Голос-то незнакомый?

— Незнакомый.

— А чего он говорит с тобой так, будто вы сто лет знакомы? «Ты вспомнишь», «ты делаешь выбор». Как будто он тебя знает. Или знал. Или...

Коля осёкся. Виктор поднял на него глаза.

— Или что?

— Или это ты сам записал.

— Я?

— Ну, не ты сейчас. А тот ты, который был до аварии. Ты же ничего не помнишь. Может, ты что-то знал. Что-то такое, что решил спрятать от самого себя.

Виктор молчал. Эта мысль уже приходила ему в голову. Но голос на кассете был чужим. Не его. Другой тембр. Другая манера. Другой ритм речи. Это был не он.

Или он просто забыл свой голос?

— Я не знаю, — сказал он. — Но я узнаю.

— Ну, удачи. Если что — обращайся. Замки вскрывать умею, тайники находить умею. На чердаки лазать — тоже.

— Спасибо, Коля.

Виктор забрал плеер и кассету. На лестничной площадке было темно — лампочка перегорела ещё в прошлом месяце. Он стоял, прислонившись спиной к холодной стене, и слушал, как внутри затихает странное эхо чужого голоса.

«Когда соберёшь все пять — ты вспомнишь».

Что вспомнишь? Детство? Тибет? Горы и белые домики? Или что-то другое, о чём он даже не догадывался?

Ответа не было.

Вечером он снова слушал кассету.

Уже дома, в тишине пустой квартиры, без свидетелей. Плеер стоял на столе. Чётки лежали рядом. Виктор включал запись раз за разом, пытаясь уловить каждую деталь.

На пятом повторе он заметил то, чего не замечал раньше. В паузе между словами «ты вспомнишь» и «и тогда ты сделаешь выбор» был едва слышный звук. Не то щелчок, не то звон — очень далёкий, очень тихий. Как будто где-то в глубине комнаты, где записывалась кассета, качнулся колокольчик на алтаре.

Он перемотал, включил снова. Да, точно. Тихий металлический звон. Затухающий, как гонг, в который ударили один раз и ждали, пока звук умрёт сам.

Откуда он знал про гонг? Никогда не слышал его вживую. Но узнал мгновенно.

Он выключил плеер. Достал кассету. Положил на стол. Рядом легли чётки. Рядом — фотография мандалы.

Пять ключей. Пять подсказок. И один голос, который обращался к нему через четыре года.

Кто он, этот человек? Почему его голос заставляет сердце биться ровнее? Почему пальцы сами складываются в странный жест — ладони вверх, большие пальцы соприкасаются, — когда звучат слова «ты вспомнишь»?

Тело помнило. Это было ясно уже сейчас. Чётки. Мантра, которую он пробормотал во сне или в видении. Поза. Ритм дыхания. Всё это было не случайным. Всё это было частью чего-то большего. Чего-то, что он пока не мог назвать.

Он встал, подошёл к окну. За окном горели редкие фонари. Двор-колодец спал. Только на углу, под милицейским «уазиком», всё ещё тлели сигаретные огоньки.

Пять ключей.

Первый — сфинксы. Это решено. Завтра он пойдёт на Университетскую набережную. Без Ирины — встреча с ней только через два дня. Один. Посмотрит на сфинксов, проверит постаменты, поищет знаки.

Может быть, найдёт что-то ещё.

Ночью ему приснился сон.

Он стоял на склоне горы. Не на краю обрыва, а на широком каменистом уступе, поросшем низкой травой и шалфеем. Внизу, в долине, лежал город — маленькие белые домики с черепичными крышами, узкие улочки, арки, мостики через невидимый ручей. Над городом висел дым от очагов — десятки тонких струек поднимались к небу и таяли на высоте.

Пахло травами и топлёным маслом. И ещё чем-то — сладковатым, тяжёлым, нездешним. Тем самым запахом, который он почувствовал впервые, когда открыл шкатулку.

Солнце садилось за снежные пики. Небо было оранжевым, с розовыми прожилками, и на этом фоне горы казались нарисованными — слишком острыми, слишком правильными.

Рядом стоял человек в тёмно-красной одежде. Тибетский монах. Лица было не разглядеть — то ли из-за солнца, то ли потому, что так было нужно. Но Виктор знал, что этот человек — старый. Очень старый. И очень спокойный. От него исходило тепло — не физическое, а какое-то другое, более глубокое. Как от печки в зимнем доме.

Монах смотрел на долину и молчал. Его руки были сложены на животе. Губы чуть шевелились — он читал мантру. Ту самую, которую Виктор слышал во сне. Или не во сне.

Потом монах повернулся к нему. Медленно, без спешки. В его глазах — тёмных, блестящих — была нежность и грусть одновременно. Так смотрят на человека, который уходит в долгий путь и не знает, вернётся ли.

— Ты вернёшься, — сказал монах. Голос был тихим, но ясным. — Но не сразу.

Виктор хотел спросить: «Куда вернись?» — но не мог говорить. Голос пропал. Горы молчали. Даже ветер стих, будто ждал ответа.

Монах улыбнулся. Его рука поднялась и легко коснулась лба Виктора — так касаются ребёнка, которого благословляют.

— Не бойся, — сказал он. — Тот, кто боится, — не ты. Тот, кто идёт, — и есть ты.

И Виктор проснулся.

В комнате было темно. За окном шёл дождь — мелкий, настойчивый, бесконечный апрельский дождь. Капли стучали по подоконнику. Труба за стеной молчала. Чётки лежали на тумбочке, и в слабом свете уличного фонаря их деревянные бусины казались живыми.

Виктор лежал и смотрел в потолок. Дыхание было спокойным. Сон уже таял, ускользал, как вода сквозь пальцы, но ощущение осталось — тепло на лбу, там, где коснулась рука монаха.

Он не помнил содержания сна. Только горы. Только дым над долиной. Только тихий голос, сказавший: «Ты вернёшься».

Вернись куда?

Ответ пришёл сам собой — не мыслью, а образом. Сфинксы на Университетской набережной. «Там, где время застыло в камне». Первый ключ.

В шесть утра он встал. Оделся. Вышел из дома. Дождь кончился, но асфальт был мокрым. В лужах отражалось светящееся небо. Дворники уже гремели тележками. Город просыпался.

Автобус шёл полупустой. Виктор сидел у окна и смотрел на проплывающие мимо дома. Ему казалось, что он видит их впервые — хотя, конечно, проезжал этот маршрут десятки раз. Но сегодня всё было другим. Как будто мир стал ярче. Или он сам стал другим.

На остановке у Академии художеств он вышел. Перешёл дорогу. Поднялся на гранитный парапет.

Сфинксы сидели лицом к Неве — два каменных зверя с львиными телами и человеческими лицами. Древние. Равнодушные. Прекрасные. Время застыло в них три с половиной тысячи лет назад и с тех пор не двигалось.

Он обошёл обоих сфинксов, провёл рукой по холодному граниту. Никаких надписей. Никаких знаков. Но он знал — это здесь. Первый ключ. Просто нужен кто-то, кто поможет его открыть. Ирина. Она знает Петербург. Она знает Тибет. Через два дня они встретятся в Эрмитаже.

А пока можно было просто стоять на набережной, смотреть на сфинксов и думать о том, что первый шаг сделан.

В четверг, в десять утра, он стоял у служебного входа Эрмитажа. Сумка висела на плече. В сумке лежала шкатулка. В шкатулке — пять предметов. Кассета, которую он прослушал десять раз. Чётки, которые его пальцы помнили. Фотография мандалы, нарисованной человеком по имени Тензин. Металлический цилиндр, чьё назначение было пока загадкой. И серебряная брошь, которая ждала свою владелицу.

Четыре ключа ещё не были найдены. Но первый уже указал путь. И это было только начало.

Глава 4. Ирина

Виктор проснулся в шесть утра, без будильника, и несколько минут лежал неподвижно, глядя в потолок. За окном шел дождь. Серый свет сочился сквозь шторы, рисовал на побелке бледные полосы. Капли стучали по жестяному отливу — мерно, настойчиво, с той особенной ритмичностью, которая свойственна только петербургскому дождю. Труба за стеной сегодня молчала. Квартира была наполнена тишиной — той утренней, зыбкой, когда город ещё не проснулся, а ты уже не спишь и чувствуешь себя единственным живым существом в радиусе нескольких кварталов.

Чётки были зажаты в правой руке. Он так и не выпустил их за ночь. Пальцы сами нашли привычный ритм — большой прижал, указательный скользнул, средний перехватил. Раз-два-три. Пауза. Раз-два-три. Пауза. Он заметил, что в последние дни этот жест стал для него таким же естественным, как дыхание. Чётки лежали на тумбочке у кровати. Чётки лежали в кармане, когда он выходил из дома. Чётки были в руке, когда он засыпал. Он не молился — по крайней мере, не в том смысле, в каком молятся верующие. Но бусины текли сквозь пальцы, и с ними текло время, и это приносило странное, ни на что не похожее успокоение.

Впереди был важный день. Встреча с Ириной Соколовой, научным сотрудником Эрмитажа, востоковедом, специалистом по тибетскому буддийскому искусству. Она прислала подтверждение вчера вечером — короткое, деловое: «Пропуск заказан. Жду в 10:00 у служебного входа на Миллионной. Приносите всё, что нашли».

«Всё, что нашли». Она написала «всё», хотя он упомянул только фотографию мандалы. Как будто знала, что есть ещё что-то. Или как будто ждала этого письма.

Виктор сел на кровати, опустил ноги на пол. Холодный паркет обжёг ступни — разошёлся за зиму, и от окна тянуло сквозняком. Квартира была старой, с высокими потолками и лепниной по карнизам, но запущенной. Обои в прихожей отошли по швам. На кухне подтекал кран. В ванной гудела труба, когда кто-то из соседей включал воду. Четыре года Виктор жил здесь, и четыре года эта квартира казалась ему чужой. Не плохой, не неприятной — просто не его. Как будто он вселился в гостиничный номер и задержался дольше, чем планировал.

Он умылся ледяной водой — бойлер всё ещё не работал, — оделся, заварил чай. Сел к столу, где стояла шкатулка. Откинул крышку. Предметы лежали на своих местах: аудиокассета, чётки, фотография мандалы, металлический цилиндр и серебряная брошь. Пять вещей. Пять загадок. И голос на кассете, который обещал: «Когда соберёшь все пять ключей — ты вспомнишь».

Что вспомнишь? Детство, которого у него не было в этой жизни? Тибет, в котором он никогда не был? Человека по имени Тензин, который, возможно, был им самим?

Виктор взял фотографию. Мандала Калачакры. Колесо времени. Круги, вписанные в квадраты. Лепестки лотоса. Тибетская вязь в углу. Он смотрел на узор и чувствовал, что глаз двигается по линиям так, будто знает маршрут. От внешнего круга — к квадрату. От квадрата — к внутренним кругам. К центру. К точке, в которой всё сходится.

Через несколько часов Ирина Соколова, возможно, скажет ему, кто такой Тензин. Возможно, первый ключ перестанет быть просто загадкой и превратится в указатель. Возможно, всё изменится.

Он допил чай, оделся, проверил сумку. Шкатулка. Чётки в кармане. Кассета там же. Перед выходом остановился у зеркала в прихожей. Из стекла смотрел мужчина тридцати трёх лет — светлые волосы, серые глаза, тонкий шрам на левой скуле. Лицо спокойное. Но в глазах — напряжение. Так смотрят люди, которые долго ждали и наконец дождались.

— Кто ты? — спросил он у отражения.

Отражение промолчало.

Путь до Эрмитажа занял около часа.

Виктор вышел из дома в половине девятого. Дождь кончился, но асфальт был мокрым, и в лужах отражалось низкое серое небо. Он шёл по Петроградской стороне мимо старых доходных домов с облупленными фасадами, мимо сквера, где мокрые воробьи купались в лужах, мимо булочной, из которой пахло свежим хлебом. Запах был уютным, домашним — но чужим. Как всё в этой жизни.

У Тучкова моста он остановился. Нева была серой и быстрой, с белыми барашками на волнах. Чайки кричали над водой, ветер трепал голые ветки лип. На том берегу, за мостом, вырастали корпуса Василеостровского, а дальше — шпиль Адмиралтейства, купол Исаакия, Зимний. Город лежал перед ним, как карта. Как лабиринт.

Он подумал: Петербург — идеальное место для загадок. Здесь всё построено на симметрии, на отражениях, на двойниках. Каналы дублируют улицы, мосты дублируют мосты, здания отражаются в воде, а вода обманывает перспективу. Даже люди здесь иногда кажутся отражениями друг друга. Может быть, Тензин вернулся именно сюда не случайно. Может быть, этот город сам по себе — ключ.

Автобус подошёл через десять минут. Виктор сел у окна и смотрел, как город медленно просыпается. Дворники в оранжевых жилетах сгребали с тротуаров прошлогоднюю листву. У ларьков толпились ранние прохожие. На Дворцовой набережной, у Эрмитажного театра, стояли автобусы с туристами — первые группы уже тянулись ко входу. Виктор вышел на Невском, пересёк площадь и свернул на Миллионную.

Служебный вход был неприметным — дверь в длинном жёлтом фасаде, без вывески, без таблички. Только камера над козырьком. Охранник — пожилой мужчина с седыми усами, похожий на отставного военного, — сверился со списком, кивнул и протянул пластиковую карточку на шнурке.

— Второй этаж, двести восьмая комната. Направо по коридору, потом по лестнице, потом снова направо. Не заблудитесь — там указатели.

Виктор повесил пропуск на шею и вошёл.

Внутри пахло музейной пылью и деревом — старым, рассохшимся, помнящим тысячи шагов. Коридоры были пустынные и гулкие. Каблуки стучали по паркету, и звук убегал вперёд, отражался от сводчатых потолков, возвращался ослабленным эхом. Где-то гудела вентиляция. Где-то переговаривались невидимые сотрудники. Эрмитаж жил своей скрытой от посетителей жизнью — как огромный корабль, чьи пассажиры видят только палубы, а машинное отделение скрыто под водой.

Он миновал зал с рыцарскими доспехами — пустые латы стояли вдоль стен, как безмолвный почётный караул. Рыцари смотрели на него сквозь прорези шлемов пустыми глазницами. Их копья были подняты, перья на шлемах застыли в вечном ожидании битвы, которая никогда не начнётся. Один из рыцарей — тот, что стоял в углу с алебардой, — качнулся от сквозняка, и Виктор вздрогнул, прежде чем понял, что это просто воздух. Нервы.

Он поднялся по широкой лестнице с чугунными перилами. Ступени были вытерты миллионами шагов — посередине каждой темнела ложбинка, продавленная временем. На стенах висели портреты императоров, которые смотрели на проходящего Виктора с тем же равнодушным спокойствием, что и сфинксы на набережной.

Второй этаж встретил его анфиладой залов. Золото рам, бархат стен, хрусталь люстр. Виктор прошёл мимо витрин с буддийскими статуэтками. Бронзовые Будды сидели в позе лотоса, полуприкрыв глаза, и на их губах играла та же загадочная полуулыбка, которую он уже видел во сне. Он замедлил шаг. Остановился. Один из Будд — небольшой, сантиметров двадцать в высоту, с потёртой позолотой на плечах — смотрел на него с таким глубоким спокой-

ствием, что на секунду стало не по себе. У Виктора возникло странное чувство: будто статуэтка знает его. Или знала когда-то. В другой жизни. До аварии. До всего.

— Заблудились? — раздался голос за спиной.

Он обернулся. Женщина в очках, с тёмными волосами, собранными в небрежный хвост, стояла в дверях и смотрела на него с усмешкой. Очки сидели чуть криво. На плечах был платок с тибетским орнаментом — синие, красные, жёлтые нити переплетались в сложный узор.

— Ирина? — спросил он.

— Она самая. А вы Виктор. Я узнала вас по описанию, которое сама себе дала: «растертый мужчина с сумкой, застывший перед буддийской витриной». Пойдёмте, мой кабинет дальше по коридору.

Кабинет был маленьким, но удивительно уютным. Два окна выходили во внутренний двор — серый прямоугольник неба, мокрый булыжник, голуби на карнизе. Голуби чистили перья и ворковали, и этот звук был единственным, что нарушало тишину. Вдоль стен — книжные шкафы, забитые так плотно, что полки прогибались. Книги на тибетском, санскрите, английском, русском. Словари. Атласы. Каталоги. На столах — стопки папок, распечатки, рукописи в прозрачных файлах. В углу — компьютер с гудящим монитором, на экране которого плавала заставка: звёздное небо. На подоконнике — чашка с остывшим чаем и бронзовая статуэтка Ганеши с хоботом, поднятым в благословляющем жесте. Пахло бумагой, чаем и чем-то сладковатым — сандаловыми благовониями.

— Присаживайтесь, — Ирина указала на стул. — Чаю? У меня тибетский, с маслом и солью. Предупреждаю честно: на вкус — на любителя. Европейцы обычно плюются. Но вы человек необычный, судя по вашей шкатулке.

— Давайте, — сказал Виктор.

Она разлила кипяток по двум кружкам. Над столом поплыл запах — травы, топлёное масло, что-то ещё, неуловимое. Тот самый запах, который Виктор почувствовал, когда открыл шкатулку. И позже — во сне, когда стоял на склоне горы и смотрел на белые домики в долине. Он сделал глоток. Вкус был странным, маслянистым, солоноватым — но не отталкивающим. Тело знало этот вкус. Язык — нет.

— Ну как?

— Необычно.

— Это комплимент. Обычно люди говорят «гадость» и бегут к раковине. — Она села напротив, обхватила кружку ладонями. — Итак. Вы писали про дядю. Михаил Ильич Соколов.

— Вы его знали?

— Немного. Он консультировал меня по санскритским рукописям. Упрямый был старик. Въедливый. Всё проверял по три раза. Мы с ним однажды поспорили о переводе термина «шуньята». Он считал, что правильно переводить как «пустотность», а не «пустота». Разница в одном суффиксе, а для него это был вопрос принципа. Мы спорили часа три, пока музей не закрылся. А потом он вдруг улыбнулся и сказал: «Знаете, Ирина, может быть, вы и правы. Но я слишком стар, чтобы менять привычки». Хороший был человек. Жаль, что ушёл. Примите мои соболезнования.

— Спасибо. Но я его не помню. У меня амнезия.

Ирина подняла бровь. Её лицо стало серьёзным.

— Полная?

— Полная. Четыре года назад я попал в аварию. Гололёд, встречная полоса. Кома. Когда очнулся — не помнил ничего. Вообще ничего. Ни детства, ни родителей, ни собственного имени.

— Как же вы живёте?

— Сначала было трудно. Пришлось учиться всему заново. Ходить. Есть. Говорить. Тело помнило, а голова — нет. Постепенно привык. Работаю архитектором, реставрирую старые здания. Руки помнят, как держать карандаш. А всё остальное — как в тумане.

— И дядя оставил вам шкатулку.

— Да. Он умер неделю назад. Последние полгода он всем твердил: «Если что — шкатулку Виктору». Я не знаю, почему мне. Я его не помню. Но шкатулку забрал.

— Покажете?

Виктор достал шкатулку из сумки и поставил на стол. Ирина посмотрела на неё с профессиональным интересом — так смотрят на музейный экспонат, который только что подняли из раскопа. Ещё не отряхнули от пыли, ещё не датировали, но уже ясно: вещь стоящая. Она провела пальцами по резной крышке. Линии переплетались, уходили вглубь, возвращались. Глаз не мог ухватить узор целиком — он всё время ускользал, как оптическая иллюзия.

— Интересная резьба, — сказала она. — Не тибетская. Скорее, индийская. Или непальская. Но мотив буддийский — посмотрите, вот здесь цветок лотоса, а здесь бесконечный узел. Можно открыть?

— Да.

Она откинула крышку. Разложила предметы на столе — один за другим, аккуратно, с той же продуманной симметрией, с какой они лежали в шкатулке. Чётки. Фотография. Нгаг-понг. Брошь. Кассета.

Первым в руки пошёл нгаг-понг. Ирина повертела его, заглянула в прорези, встряхнула — внутри глухо стукнуло. Её лицо изменилось: из вежливо-заинтересованного оно стало сосредоточенным, почти хищным. Так смотрит эксперт, которому принесли подлинник, а он ожидал подделку.

— Нгаг-понг, — сказала она. — По-тибетски это означает «собрание мантр» или «сосуд мантр». Ритуальный предмет для тайных учений. Свет проходит через прорези и проецирует священный текст на стену. Внутри, скорее всего, свиток с мантрой — обычно это ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, главная мантра тибетского буддизма. Такие вещи делали в единственном экземпляре для конкретного практика. Их не продавали, не дарили, не передавали по наследству. В музеях мира их — единицы. В частных коллекциях — почти нет. Я видела такой только раз, в Дхарамсале, в библиотеке тибетских рукописей. И то не дали в руки. А вы принесли его в старой сумке.

Она покачала головой и отложила цилиндр. Взяла чётки. Поднесла к свету настольной лампы. Достала из ящика стола лупу — старую, с потёртой ручкой, явно музейную. Её пальцы двигались уверенно, как пальцы хирурга.

— Вот здесь, — она указала на серебряную вставку между бусинами. — Видите гравировку? Это слог «хум». Один из слогов мантры Ом Мани Падме Хум. И вот здесь — ещё символы. Молния. Глаз. Рыба. Раковина. Это Восемь благоприятных символов тибетского буддизма. Они повторяются в определённом порядке. Бесконечный узел. Лотос. Зонт. Золотые рыбы. Белая раковина. Сосуд сокровищ. Колесо Дхармы. Знамя победы. Такие чётки делают только в одном месте — в монастыре Гедэна Шеддупа в Восточном Тибете. Я была там в девяносто восьмом, в командировке.

— Вы были в Тибете? — спросил Виктор.

— Дважды. Первый раз — в девяносто восьмом, молодая аспирантка, только что защитила диплом. Второй раз — в двухтысячном, уже после того, как... ну, не важно. Расскажу, если хотите.

— Расскажите.

Ирина отложила лупу и посмотрела в окно. За окном голуби всё так же чистили перья на карнизе. Серое небо висело низко, почти касаясь крыш.

— В девяносто восьмом мне было двадцать шесть, — начала она. — Я только что защитила диплом по тибетской иконографии. Мой научный руководитель, профессор Воронов, сказал: «Хватит сидеть в библиотеках. Поезжай в Тибет. Посмотри на всё своими глазами». Я поехала. Добиралась через Китай — самолёт до Пекина, потом поезд до Чэнду, потом автобус до Лхасы. Автобус шёл четверо суток по горному серпантину. Я думала, что умру от страха — дорога петляла над пропастями, водитель курил и смеялся, а я сидела, вцепившись в сиденье, и повторяла про себя все мантры, которые знала.

— Страшно было?

— Ужасно. Но когда мы въехали в долину Лхасы и я увидела Поталу... — она замолчала, подбирая слова. — Знаете, есть вещи, которые невозможно описать. Потала — это дворец далай-ламы. Огромное бело-красное здание на холме. Оно возвышается над городом, как корабль. Когда солнце садится за горы, его стены светятся золотом. Я стояла на обочине и плакала. Не от страха. От красоты. И от чувства, что я — дома.

— Дома?

— Да. Странное чувство. Я никогда не была в Тибете, но когда увидела Лхасу, у меня возникло ощущение, что я вернулась. Не в город. В состояние. Как будто я была здесь когда-то. В другой жизни. — Она усмехнулась. — Глупо звучит для учёного, да?

— Нет, — сказал Виктор. — Не глупо.

Ирина посмотрела на него внимательно, потом снова взяла чётки.

— Монастырь Гедэна Шеддупа находится в двух днях пути от Лхасы, в горах. Маленький, человек тридцать монахов. Школа Гелуг. Славятся резьбой по дереву и серебру. Каждые чётки — штучная работа. На них уходит от трёх до шести месяцев. Я пробыла там неделю, изучала их технику. И знаете, что меня поразило? Монахи не считают это ремеслом. Они считают это практикой. Когда они режут бусину или гравировывают символ, они читают мантру. Каждое движение — молитва. Каждая бусина — благословение.

Она перевернула одну из бусин.

— Эти чётки — не сувенир. Не туристическая подделка. Ими пользовались. Долго. Годы. Видите потёртости? Кто-то перебирал их каждый день. Часами. Так делают только практикующие. Те, кто идёт по пути.

Виктор молчал. Пальцы под столом сами повторяли движение — большой прижал, указательный скользнул, средний перехватил.

— Теперь брошь, — Ирина взяла серебряный лотос. — Серебро. Ручная работа. Клеймо — восьмиконечная звезда. Такое ставили мастера в Лхасе. Не раньше восьмидесятых годов двадцатого века. Вещь женская, явно для подарка. Посмотрите на лепестки: каждый проработан отдельно, с прожилками. Это работа мастера, который вложил в неё время и душу. Такие вещи не продавали на рынке. Их дарили близким людям. Кому он её подарил? Или кому собирался подарить?

— Пока не знаю.

— А фотография... — она взяла снимок, включила настольную лампу, поднесла к свету. Долго всматривалась. Потом сняла очки, протёрла стёкла платком. — Мандала Калачакры. Колесо времени. Одна из самых сложных мандал в тибетском буддизме. Видите — внешний круг, квадрат с четырьмя воротами, внутренние круги, лепестки лотоса, центральная точка. Каждая линия имеет значение. Каждый символ. Это не просто рисунок. Это карта вселенной. Карта сознания. Её рисуют цветным песком в течение нескольких недель, а потом разрушают одним движением руки — чтобы показать непостоянство всего сущего. Тот, кто это рисовал, был мастером высокого уровня. Не подмастерье. Не любитель. Мастер.

Она перевернула фотографию. Потом снова на лицевую сторону. Лупа поползла к правому нижнему углу.

— А вот здесь, — её голос изменился, стал тише, — подпись. Тибетским уставным письмом. У-чен. «Тензин».

Ирина отложила лупу. Сняла очки. Посмотрела на Виктора.

— Тензин — это не имя. Это посвящение. Означает «держатель учения». Его дают тем, кто принял буддийское прибежище и достиг определённого уровня. Русский Тензин — это почти легенда среди востоковедов. О нём говорят, но его никто не видел. Он приехал в Тибет в конце восьмидесятых или начале девяностых. Молодой, лет двадцати пяти. Из Петербурга. Учился у старого ламы в монастыре Гедэна Шеддупа. Практиковал медитацию. Достиг высокого уровня — настолько высокого, что ему разрешили рисовать мандалы. Это доверяют не всем. Мандала Калачакры — высший уровень. Её рисуют только те, кто прошёл многолетнее обучение.

— Почему он вернулся в Петербург?

Ирина вздохнула.

— Этого я не знаю. Кажется, не знает никто. Он вернулся летом девяносто восьмого года. Снял мансарду на Васильевском острове, угол Шестой линии и Среднего проспекта. Начал скупать странные вещи — тибетские тексты, ритуальные предметы, старую аппаратуру. А в марте девяносто девятого его нашли мёртвым. Он сидел в позе лотоса. Врачи сказали — остановка сердца. Но в отчёте написали: «причина смерти не установлена».

— В марте девяносто девятого, — медленно произнёс Виктор, — я очнулся в больнице. После комы.

Ирина посмотрела на него долгим взглядом. В её глазах не было страха или недоверия — только интерес. Исследовательский, острый, почти азартный.

— Это может быть совпадением, — сказала она. — Так скажет любой учёный. Но я уже десять лет изучаю тибетский буддизм. И чем дальше, тем чаще сталкиваюсь с вещами, которые невозможно объяснить с научной точки зрения. Я не мистик. Я скептик. Но я знаю, что тибетские практики — это не религия в европейском смысле. Это технология работы с умом. И иногда эта технология даёт результаты, которые мы, западные люди, называем чудом. Хотя дело не в чуде. Дело в том, что мы просто не знаем, как это работает.

Она взяла кассету.

— Это последний предмет.

— Да.

— Что на ней?

— Голос. Я прослушал её несколько раз. У соседа есть плеер.

— Чей голос?

— Не знаю. Но он говорит о пяти ключах. Говорит, что если я соберу их все — я вспомню.

— Вспомните что?

— Не знаю.

Ирина покрутила кассету в руках.

— У вас плеер с собой?

— Да.

— Включите.

Виктор достал плеер, вставил кассету, нажал «play». Голос зазвучал в маленьком кабинете — спокойный, ровный, с лёгкой хрипотцой. «Если ты это слышишь — значит, всё получилось...» Ирина слушала не перебивая. Её лицо оставалось спокойным, но пальцы, державшие ручку, побелели.

Когда запись кончилась, она долго молчала. Потом сказала:

— Это он. Тензин.

— Вы знаете его голос?

— Нет. Но я знаю его манеру. «Имя — одежда, которую меняют, когда она изнашивается». Так говорят только те, кто долго практиковал. Это не метафора. Это опыт. Прямой опыт. Он говорит с тем, кто должен вспомнить. С тем, кто забыл. С тем, кто, возможно, был им самим.

— Вы думаете, я — это он?

Ирина откинулась на спинку стула. За окном голуби вспорхнули с карниза и улетели.

— Я думаю, что у вас есть чётки, которые ваши пальцы помнят. Есть кассета с голосом человека, который умер в тот самый день, когда вы очнулись. Есть фотография мандалы, нарисованной русским практиком, который изучал тронг-джуг — перенос сознания в другое тело. И есть пять ключей, первый из которых вы уже интуитивно разгадали. Это может быть совпадением. А может — нет.

— Тронг-джуг? — переспросил Виктор. — Что это?

Ирина встала, подошла к книжному шкафу. Достала толстый том в красном переплёте — «Тибетская книга мёртвых», издание с параллельным переводом. Положила на стол.

— Тронг-джуг — это практика переноса сознания в другое тело. Не путайте с пховой. Пхова — это перенос сознания в момент смерти в чистую землю, в сферу Будды. Её практикуют многие. А тронг-джуг — это другое. Это когда сознание покидает одно тело и входит в другое. Живое или только что умершее. В тибетской традиции эта практика считается одной из самых сложных и редких. В текстах её описывают, но почти никто не видел её в реальности. Большинство лам говорят, что это либо миф, либо утраченное знание.

— Но не в Гедэна Шеддупа?

— Да. Монастырь Гедэна Шеддупа известен тем, что там сохранилась линия передачи тронг-джуг. Устная традиция. От учителя к ученику. Если Тензин был лучшим учеником тамошнего ламы, он мог получить это знание.

— И он решил его проверить.

— Да. Проверить на практике. Для этого ему нужно было тело. Свободное тело. Без сознания.

— Моё тело.

— Да. Вы были в коме. Ваше тело было свободно. Если он действительно совершил тронг-джуг, он вошёл в вас. А чтобы новая личность прижилась, старая память должна была быть стёрта. Полностью. Иначе тело отторгнет чужое сознание. Это как пересадка органа — нужно подавить иммунитет, иначе отторжение. Только здесь иммунитет — это память.

Она замолчала. За окном начинался дождь — мелкий, серый, бесконечный.

— Значит, я — это он? — спросил Виктор.

— Значит, вы — продолжение его эксперимента. Вы — вопрос, на который он хотел получить ответ. «Можно ли разбить зеркало?» Он хотел узнать: если стереть всю память, останется ли «я» прежним? Или родится кто-то новый? Ответ — вы. Но вы ещё не закончили вспоминать. Пять ключей должны пробудить память. И тогда вы ответите на его вопрос. Или на свой.

Виктор взял чётки. Пальцы нашли привычный ритм.

— Что мне делать? — спросил он.

— Искать ключи. Первый — «там, где время застыло в камне». Это сфинксы на Университетской набережной. Другого варианта нет. Хотите, пойдём туда вместе? Завтра с утра.

— Почему вы хотите помочь?

Ирина улыбнулась. Улыбка у неё была неожиданно тёплой.

— Потому что скучно. Вы не представляете, как скучно работать в музее. Каталоги. Описи. Экскурсии для школьников. А тут — настоящая загадка. Живой Тензин. Исчезнувший практик. Шкатулка с ключами. Я десять лет изучаю тибетское искусство и ни разу не держала в руках нгаг-понг, которым пользовались. А вы принесли его мне в первый день знакомства. Как после этого вас бросить?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.